В друг оказывается, что жить тебе осталось уже явно меньше, чем прожито. Да еще время все сжимается и сжимается, течет, просачивается, уходит, словно песок сквозь пальцы — неостановимо и неумолимо. Еще только позавчера был понедельник, а уж послезавтра пятница! И что? Земля вертится и вертится, все ускоряется и ускоряется, того и гляди выскользнет из-под ног. За что зацепиться, чем утешить маету души, ночное биение сердца, как успокоить окаянные ночные мысли?

Эх, а где там старый, лет двадцать не тревожимый рюкзак, где склеившаяся от долгой лежки надувная лодка?

— Бывало, по Вичкинзе на лодках все лето ходить можно было, только осенью вода спадала, — рассказывал мне, пока я накачивал надувную лодчонку, дед-пастух, пригнавший к устью Вичкинзы десяток овец и пяток коровенок. — А нынче-то самый мелкий мужик в самом глубоком месте ее вброд перейдет, сидячего места не замочив.

Отсюда, от устья Вичкинзы, собирался я проплыть по Сатису до Мокши, по границе заповедных Муромских лесов в поисках временного покоя и нечаянных тихих

впечатлений. И дед-пастух скрасил мне своей нехитрой болтовней рутинную подготовку к плаванью.

— Лесу по берегам почти нету — раз, — ворчал по-стариковски пастух, загибая корявые пальцы. — Родники все илом позатянуло — два, берега распаханы — три! Да ишо мясокомбинат...

Дед помог мне стащить груженую еще на берегу лодку в воду, и, гребнув байдарочным веслом, я поплыл мимо равнодушных коровенок, мимо склонившейся над водой ветлы и через три гребка вывел свою надувнушку в Сатис.

Интересные здесь места — столько всего понамешано, на удивление. За спиной спрятался за колючую проволоку некогда суперсекретный город Саров, который за свою историю поменял с десяток псевдонимов: и Арзамас-75, и Центр-300, и Кремлев... Сколько народу со всей страны, изо всех республик съехалось сюда, на «объект», когда-то — лучшие умы и золотые руки — чтобы придумать и сковать ядерный щит! СССР в миниатюре...

А всего в десятке верст от него (почему-то хочется сказать именно «верст») — Дивеево с мощами преподобного Серафима Саровского. Слева потянулись леса мордовского заповедника со всевозможным зверьем и птицей, с кикиморами болотными и одряхлевшим Соловьем-разбойником на пенсии, не добитым ядерной дрянью соседнего «объекта»...

А уже через пару-тройку поворотов покажется из-за ветвей крест часовни на «серафимовских источниках». Купальни, мостки, толпа народу и лотки со всякой «духовной» мелочью, да и со снедью, впрочем, тоже. А ведь раньше тут был тихий мирный лесной уголок. И что за мания такая — тяга к тяжелым, бронзовым мемориалам. Бил здесь когда-то из-под берега чистый живой родник, столетние сосны шумели над ним и, говорят, приходил сюда пару раз маленький согбенный старичок с монашеским именем Серафим. И вот уже толпы паломников, строительство, запруда, уж вместо родника — грязная темная лужа, а нам все равно — святое место. Нам что Ленин, что Серафим — наворочаем бетонных глыб, зальем бетоном тропинки, нагородим фонарных столбов, ну, и торговлю, конечно, откроем. И не ведаем, простофили, что вместе с покоем и простотой давно потеряли благодать этого места...

Но ничего, ничего, река быстро унесет лодку от суеты человеческой под сень столетних корабельных сосен и пятисотлетних дубов. В непривычный горожанину зеленый сумеречный мир папоротников в человеческий рост, метровых муравейников, в густые заросли ореха-лещины, ежевики и прибрежного краснотала. Если повезет, увидишь по пути надменного лося, вышедшего на водопой, семью кабанов, торпедами пробирающуюся сквозь осоку, а то и самого хозяина здешних лесов — громадного зубра. А затемно, причалив к берегу и разминая затекшие ноги, быстро наберешь сушняка, и запылает, отражаясь в воде, костерок. Забулькает в котелке уха из пойманных еще днем язей, закричит в темноте филин, вылетевший на охоту, и ты уснешь, убаюканный самой природой, ничего не опасаясь, ни о чем не беспокоясь и ничего не ожидая...

* * *

Как хороши вот эти нетронутые временем места. Проселочная дорога с разноцветным роем бабочек-однодневок в сырой колее, голос кукушки в глубине леса, неведомо кем поставленный сруб над родником и берестяной ковшик, остатки водяной мельницы поперек русла речушки. Кто

жил здесь и когда, куда ушел и почему — теперь уж об этом никому не узнать. Хочется бросить все, забыть мелкие свои суетные мыслишки, пропустить сквозь себя величие вечности, выйти на едва заметную тропу и побрести не торопясь, куда бы она ни повела. И хорошо бы брел рядом с тобой седой старичок со спокойным добрым лицом, и говорил бы тебе простые слова, которые отчего-то все реже говорятся в этом мире...

И набредешь нечаянно на забытую деревеньку с поэтическим названием Три Овражка. И овражков-то вокруг вроде не наблюдается, и почему три? Три богатыря? За тридевять земель? Было у отца три сына... А вдоль главной, потому что единственной, улицы ковыляет гордый гусак. А на поленнице млеет под солнцем, скептически поглядывая на суетливых «пудиков», толстый кот. А у крайней избы — рябина, а в окне красная герань... Вот у такого окна с такой геранью пил я однажды чай с полузасохшими пряниками, а хозяйка — подвижная улыбчивая семидесятилетняя старушка, подливая мне заварки «погуще», рассказывала о таинственном звере, заведшемся на местной речке Кянерге:

— Бают люди, много его стало, а раньше вовсе не было! Откуда пришел — не знай, охотятся на него приезжие охотники, а наши брезгуют. И название у него како-то аляписто — атандра.

— Большой зверь-то?

— Да поменьше бобра будет. И мордой малость похож — да не бобер. Живет, правда, как бобер — под водой, рыбу ест. Бобер людей боится, а этот — нет. Ребятишки там его часто по вечерам видят, на рыбалке. Я и сама раз видела. За грибами ходила, устала, на берег присела, а он плывет — одна голова торчит. Под берег подплыл, нырк — и нету! Страсть...

Мне бы сразу догадаться, что за зверь завелся на лесной речке Кянерге, а я все выпытывал у старушки — какого цвета шкурка да какой хвост, да велики ли уши... Так вдруг захотелось чего-то таинственного, чудесного, неоткрытого...

В общем, была это банальная зверушка, ненужный подарок Америки, обыкновенная водяная крыса — ондатра, выдавившая, кстати, из наших лесов стариннейшего и уж куда более ценного зверька — выхухоль...

* * *

...За ленивой греблей, неторопливым купанием в песчаной заводи, за дремотной рыбалкой прямо с борта лодчонки не заметишь, как неторопливо пролетел день. Большое красное солнце уже зацепилось за почерневшие верхушки сосен и острые шпили елей, сумерки крадучись вползли в лес, притушили яркие краски лета и подняли над рекой редкий туман.

Неторопливо распаковываешь рюкзак и все знаешь наперед: что будет костер, ушица с дымком, невообразимое бархатно-бриллиантовое небо, плеск рыбешки в заводи, стрекот сверчка и шелест летучих мышей над головой. Предчувствуешь, как утром тебя разбудит солнечный луч, пробившийся сквозь ветки черемухи, а когда ты войдешь по колена в реку, чтобы умыться, из-под берега заполошно вылетит до смерти перепуганная утка и с шумом умчится за речной поворот. И ты с облегчением убедишься, что в жизни есть смысл, а смерти вовсе нет...

Только тут ты вдруг осознаешь, что совсем отвык от тишины. Телевизор и магнитола заменили тебе шелест осин и плеск мелкой речной волны, ты не видишь ни потрясающего богатства ночного неба, ни роскоши августовского заката, ни медленного восхода огромной луны. И не то что

ближнего своего — себя-то порой не видишь, не слышишь и не понимаешь. Где уж тебе разглядеть прихотливые миниатюры неведомого художника на крыле застывшей на секунду бабочки. И только оттаяв от каменного холода городской суеты, от вечной боязни что-то не успеть, отстать, недополучить, будешь готов к встрече, ради которой, может быть, и забрался в эту глухомань. И встреча эта состоится утром, когда, бросив весло и облокотившись на круглый борт лодки, ты станешь вглядываться в медленно проплывающие берега.

Вдруг! Именно — вдруг, словно пущенный невидимой пращой, с резким свистом пролетит над самой водой драгоценный сверкающий изумруд — зимородок! Не каждому дано разглядеть эту маленькую, удивительную райскую птичку средней полосы России.

Увидев ее случайно впервые, я не поверил своим глазам. Еще бы: голубовато-изумрудная спинка ярко вспыхивает, переливается в зависимости от того, под каким углом на нее падает солнечный луч: то горит аквамарином, то отливает густым малахитом, то вдруг лазурным блеснет на мгновенье! А прибавьте к этому богатое рыжеватое брюшко, эффектный «берет» в темную пестринку на головке, кораллово-красные лапки... А он еще и ныряет! Вдруг вонзится в самую стремнину, исчезнет в пестроте волн, а через секунду выскочит, как ни в чем не бывало, с жуком или мелкой рыбешкой в большом остром клюве. И вновь с резким криком понесется над водой, засияв небывалым оперением. В полете все это мерцает, переливается, нереально вспыхивает... Даже сердце защемит от этой мимолетной живой красоты. И ведь она будет вечно. В ней, в этой красоте ни для кого, ни для чего, и есть смысл.

Гоняешься, гоняешься за экзотикой, рвешься в дальние страны и с каждым разом хочешь все более и более необычного. И не видишь того, что рядом, под боком, не ценишь того, что принадлежит тебе с самого рождения и что ничуть не хуже заморских чудес. Оно здесь — красивое, живое; сверкающий под солнцем сгусток жизни — веселый и неутомимый. А мы не видим. Не замечаем и до поры даже не представляем себе, что он есть...

Каждый раз, проплывая по зеленому извилистому лабиринту Сатиса, я жду этой встречи... Эта удивительная птаха не раз спасала меня от черных мыслей, от невыносимой злобы и густой, вязкой, как болото, печали. Должно быть, зимородок — тайная душа наших краев, ее незримая сущность...

* * *

И новый вечер у нового костра, и нечаянный гость. Из совсем уже сгустившегося сумрака вышел к огню монах-паломник. Пробирался пешком из Санаксарского монастыря в Дивеево и неведомо как набрел на мою стоянку. И была совместная трапеза и долгая неспешная беседа. Батюшка, который по годам много меня младше, смотрел-смотрел мне в глаза и, безмерно поражая, вдруг сказал:

— А ведь вас что-то сильно печалит; вы смеетесь, а в глазках-то тоска, — и принялся говорить мне положенные утешительные слова, которые по своей обыденности и общеизвестности утешать не должны были бы, но отчего-то утешали. — Человек — произведение Божье, все плохое в нем, неестественное — от лукавого, и хоть не каждый может побороть искушение, но каждый может понять и простить...

Я не рассказал батюшке, что за неделю до моего плаванья в Сарове пьяный подонок изнасиловал и задушил пятилетнюю девочку. Малышка лежала в гробу с таким обиженно-недоуменным выражением личика, что сердце отказывалось биться. Я слушал монаха и думал: вряд ли кто-то из смотревших, как закапывают в землю игрушечный гробик, согласился бы даже попытаться понять, а тем более простить то «произведение божье», что подняло руку на ребенка. Господи, да сколько в жизни мерзостей и удивительных гадостей творят те, что «по образу и подобию»! И как же трудно порой поверить в необходимость этой жизни...

Утром батюшка пошел своей дорогой, а я — своей. Пусть он найдет, что ищет, и пусть попросит у Бога успокоения и моему больному, неверящему сердцу...

* * *

Дед стоял робинзоном на крутом берегу и смотрел из-под козырька ладони, как я выгребаю по плесу. Он зазвал меня в избу:

— Как эт на улице спать, когда изба есть!

Он не успокоился, пока я не перенес в дом рюкзак и не затащил лодку на лужайку под окнами. И вот мы сидим за некрашеным столом, на котором живописно расположились картошка в чугунке, соленые грибы на щербатой тарелке, зеленый лук и горка крупной сероватой соли. В центре красовалась бутылка с самогоном. А как же...

Дед все говорит и говорит — не мудрено: один на всю деревню. По выходным только городские наезжают. Сколько ему? Восемьдесят? Девяносто? Больше?..

Дед выпил стопочку, но уже раскраснелся и ожесточенно распекает меня за неверие в вековую мудрость народа:

— Да ты не знашь, а говоришь. И домовые есть! И колдуны есть! Просто их учены не исследовают. И захотят — не смогут, потому что *эти самые* — глаза отводят. Не поисследовашь.

Вот у нас за третьей вершинкой в поле есть вязок — туды они и слетаются, колдуны-ти! И у нас в Елозове был один. Давно, правда, задолго до войны ишо. Он, знашь чево, шкуры свиные надевал, быцачьи, наряжался в шкуры. И один раз его пымали, отутюжили его на задах, вон тама. Не стал уж ходить, а то в шкурах ходили: свиньей, хрюкают идут, да пугали народ-от. Напугать-то гоже — до смерти напугают! Потом вот он помер, а после уж у него шкур-ти там больно нашли много: под мостом там — и свиные, и бараньи, всякие.

Туды, к вязу, никто не ходил. Там ведь, знаешь, днем-то ничего, — там они только слетаются к двенадцати часам. Вот они там побудут часа в два, и уж там уж огнев нет — все уж они. Прям огни — вон как головешка летит! Вот как головешка — вот и они так летали... А ты говоришь, учены...

А ишо, в другой стороне, за выселками, за оврагом и дальше за Силиным, уж его сейчас нет, Силина-та, — вот там стоял дуб. Туда наборот все ходили на праздники, наши елозовски-ти, с пляской, с гуляньем. Ходили... Но только взад с оборотом, без ночевы. И ведь это тебе дуб, а не вяз. И стоял он не в вершине, а на пригорке. А вот в вершине, в долочке — вот тут и гуляли.

А домовой в любой избе есть, тут надысь по телевизору показывали, баяли — как, мол, и что... А нам давно известно. Бабка ишо моя мне

говорила. Домовой-от, он не вредный, если с им по-хорошему. Вот телевизор испортится, или лампочки перегорать станут, или станут вещи пропадать, канет что — не найти, ты тогда так сделай. Ты возьми хлеба ломоть не шибко большой, аржаной лучше, соли посыпь на него. Положи за печку или како друго темно место укромно, рядом поставь блюдце с молоком, чтобы всклень нолито было, и скажи добренько: домовой хозяинушко, соседушко, ты в доме смирно живи, не шути, не глумись, людя́м не мешай, иди в темные леса, в зыбучие пески, там шути, там глумись, там трясись, а в доме моем тихо живи, смирно сиди, дом обороняй, от злого нечистого охраняй. В темном лесе на зыбучем песке растет ивушка, растет осинушка, то тебе игрушки-забавушки. Не растет ивушка без коренья, не стоит осинушка без листочка, а раб Божий, — тута имя свое вставь, — живет без сполохов, пристреков да порчи. С Господом буду, тихо и мирно в дому моем поживу. Аминь. Понял? А ты говоришь, учены...

А вот еще, если не ладится што и не ладится, ты вот што. Ты возьми ложку стару, деревянну лучше, обойди весь дом-от с ложкой-ти, да везде загляни и во двор к скотине, и в чулан, и на подловку залезть лучше, в подклеть, в сени, конечно... И вот потом иди на перекресток и зарой ложку-ти на том перекрестке. Да когда домой пойдешь, взад не обертывайся, не гляди, даже что услышишь — не обертывайся. А ты говоришь, учены...

Наконец дед угомонился, застелил мне скрипучую столетнюю кровать. Я засыпал, и неведомо мне было, что вскоре едва ли не такие же «сказки» услышу я от молодого паренька в мордовской деревне Шилокша — про богиню воды Ведяву да про богиню леса Веряву.

* * *

От того ли, что деда звали Николай, припомнился мне другой «лесной человек» — Мыкола. И наш с ним поход на охоту по талым мордовским чащобам.

Солнце зацепилось за корявые ветви дальних сосен и висело в них, наливаясь красным жаром. Но это был обман — оно совсем не грело. Мы брели по желтой песчаной дороге, которая превратилась в дно мелкой прозрачной речушки — апрельская талая вода сбегала в нее и сквозь резину сапог и шерстяные носки мы чувствовали ее ледяной холод. И все же идти по залитой дороге было приятнее и легче, чем по ноздреватому серому снегу, который большими пятнами лежал среди густого кустарника. Лес потихоньку замолкал. И голос Мыколы резко раздавался среди замерших темных стволов.

— Тетерев — птица жутко осторожная. Подойти к ней трудно-трудно. А особенно глухарь... Ну, услышал ты глухаря, что делаешь? Пока он токует, ты махить, махить на звук, но как слышишь «чуфшшш — чуфшшшш» — сразу замри! Как прямо встал — так и замри. Так на выстрел и подойдешь, если не дурак...

Мыкола шагает нешироко, но быстро, вдруг сворачивает с дороги, исчезает в кустах и через минуту появляется совсем не там, где ожидаешь его увидеть.

Мальчишка, увязавшийся с нами на тягу, догоняет его, семенит сбоку, спрашивает:

— Дядь Мыкола, а кого труднее стрельнуть — глухаря или тетерю?

— Обоих трудно, вальдшнепа легче, красться не надо, встать только удачно и жди себе.

Мы выбрели, наконец, на сухое место. Мыкола остановился, присел на корточки.

— Вот гляди, вишь, говна — это глухаря говны. Тут вот сосна, значит тут сухо, здесь костер и разведем.

Мальчишка плюхнулся на покрытый сосновой иголкой пригорок:

— Ты, дядь Мыкола, прямо Дерсу Узала...

— Смеешься? Смейся, смейся, вот щас по лбу дерсну и будет тебе узала.

— Мыкола, да это человек такой таежный был, — засмеялся мальчишка, — все о природе знал... как ты...

— Индеец что ли?

— А ты что — индеец?

— Шел бы ты за дровами... Да с полу не бери — лежачее все отсырело, ломай стоячее. Жалко дуба тут нет — сыро. Сухой дуб — самое жаркое дерево...

Огонь разгонял тьму, плясал на задумчивых лицах, на рыжей коре сосны. Мы, сморенные усталостью и ужином, задремывали. Только Мыкола все не мог успокоиться, вскакивал, убегал за чем-то во тьму, или просто стоял, задрав голову к кронам, словно принюхивался и слушал что-то нами не слышимое. Потом подбрасывал сучьев в костер и снова садился.

— Спать станете, руки из рукавов фуфаек выньте и к телу прижмите — так теплее. Под утро холодно будет, гляньте, как вызвездило...

Все задремали, а от меня сон что-то отлетел, да и Мыкола все возился, бормотал что-то сам с собой.

— Мыкола, ты зачем живешь?

Мыкола вопросу не удивился, помолчал, поворошил веткой в огне.

— А хрен его знат. Ну вот, к примеру, нападут на нас американцы — они всех сейчас что-то бомбят. Или те же китайцы... Кто на войну пойдет? Меня забреют... А ты говоришь, зачем. Занадом...

— А если войны не будет?

— Дак, слава ж богу! Хорошо же, если не будет!..

Уже сквозь сон я слышал, как Мыкола поднимался, бормотал что-то, подбрасывая в угасающий костер ветки, и чувствовал, как тепло волнами наступает на окружающий нас ледяной апрель...

* * *

Утром дед на дорогу угостил меня окрошкой. Простенькой: огурцы, картошка, размятый с солью зеленый лук, яйца да самодельный квасок. Я ел, нахваливал хлебово на радость деду, но сам-то вспоминал деревенскую окрошку из детства. Хотите знать, какой должна быть настоящая русская окрошка? Спросите меня.

Главное в окрошке — что? Главное делать ее с охотой, с предвкушением, с вожделением, можно сказать, с любовью. Эх, бывалоча... Август, солнце в зените и жара звенит. Муха разомлела между рамами и лишь изредка взжужживает. Время к обеду и в желудке поурчивает. А мы на скорую руку, но не торопясь. Берем зеленый лучок, неторопливо промываем его под холодной водой. И лук моем, и удовольствие получаем. Тяпаем его вострым ножичком — хрум-хрум-хрум — на деревянной доске,

а потом кладем в емкость и смешиваем с крупной солью. А потом толкушечкой, опять же деревянной, тщательно разминаем его. В столовых и ресторанах этого, как правило, не делают. Поэтому окрошка там не настоящая, не живая, не такая духовитая, какой ей положено быть. Оставляем размятый лук пропитываться солью и беремся за другие ингредиенты.

Заранее сваренную картошку в мундире — чуть-чуть, самую малость недоваренную, чтобы не разваливалась, режем кубиками — крупными или мелкими — это уж на вкус индивидуума. Потом огурчики. Потом сваренные вкрутую яйца.

Это основа. Дальше — изыски. Есть, например, любители рубить в окрошку квашеную капусту. Можно? Конечно, можно — не противоречит. Дальше еще интереснее. Самый простой вариант: порубить вареную колбасу — такой нехитрый вариант «мясной» окрошки. Кто-то скажет — фи, колбаса! Правильно! Лучше нарезать куриное филе или отварную телятину. Все, конечно, хорошенько перемешать, наслаждаясь огуречно-луковым запахом, пробуя «на соль». И дать этой смеси немного постоять, пропитаться луковым и огуречным соком.

Да — чуть не забыл! Есть любители крошить в окрошку помидорчики. Хоть классическая окрошка такого ингредиента не предполагает, я не против, и даже — за. Помидоры украшают окрошку и зрительно, и вкусово. Но не настаиваю, не настаиваю...

Теперь что? Теперь — квас. Какой квас? Это тоже дело вкуса. Но окрошка на магазинном «бутылочном» квасе — это перевод продукта. Есть можно, но — от безысходности. Бочковой квас — другое дело. Это уже более или менее — зависит от того, как квас изготовлен. Но самый смак — это квас домашний, и лучше всего по деревенскому рецепту — ядреный, крепкий, ароматный. И тут тоже — дело вкуса; кто-то любит окрошку сладковатую, кто-то с кислинкой, а кто-то и с горчинкой даже.

Не надо заливать всю приготовленную смесь сразу. Положить сколько нужно в тарелку и уже в тарелке залить квасом. Несъеденную смесь — в холодильник; правда, долго она там все равно не простоит, будет съедена в ближайшие двадцать четыре часа. И все же большие объемы — про запас — готовить не стоит, главная прелесть окрошки — в ее свежести.

Итак — квас, заключительный штрих — ложка сметаны и — вперед!

Вот она — тарелочка с голубой каемочкой. Стоит на белой скатерти, или на неструганном дачном столе, или на алюминиевом пикниковом шатком столике под шелестящей березой, или... да какая разница, на чем и где. Стоит и манит — ну, давай, зачерпывай разноцветное лето деревянной — непременно деревянной! — ложкой. Хлебни со всхлипом, со смаком, с вожделением, зажмурь глаза — м-м-м-м. И зубами в горбушку ржаного — чем чернее, тем лучше — хлеба. Да не забудь в спешке желания посыпать эту прелесть — окрошку, конечно же, а не горбушку — укропчиком и петрушкой. Мама моя, что за чудо... Блаженство...

Нет-нет, еще не все.

Есть еще один вариант. И не воротите нос, пока не попробуете. Нет, попробуйте, распробуйте, осознайте, и только потом решайте — нравится или все же нет. В моей деревне вместо колбасы или мяса в окрошку кладут... кильку в томате. Правда-правда!

Знаю, как-то это необычно, как-то... И даже не знаю, как вас убедить, что — не противоречит. Да просто попробуйте! Возьмите обычную, банальную, полузабытую, советскую (она продается, как ни странно) банку

«Килька в томатном соусе», и выложите содержимое в тарелку с окрошкой. Все изменится — и цвет, и запах, и вкус. Но это по-прежнему будет окрошка. Другая. Но оч-ч-чень вкусная. Ни в одном ресторане вы такую окрошку не попробуете. Это аутентичная окрошка. Эндемичная. Это вам не космополитичный фастфуд.

А главное еще что? Пока готовишь это летнее чудо, столько всего вспомнишь — и детство, и деревенских друзей, и набеги на чужие огороды за первыми огурчиками-пуплятами, и бабушку, подливающую квасок из запотевшей кринки в общую большую тарелку с той же окрошкой на деревенском столе, и цыпки на ногах, смазанные сметаной, и острый запах дедовой махорки, и утомленные взмыки коров, с тяжелым выменем, возвращающихся с пастбища, и щелк пастушьего кнута, и алую герань на окне, и пронзительный крик ласточек-касаток, и блики августовского солнца на ряби пруда, и грустный отъезд в город накануне сентября, и прощание с летом...

* * *

Словно не по речушке плывешь средь лесов и лугов, а по реке времени несет тебя, по реке памяти, и выносит на отмель сознания то одну драгоценность, забытую в толчее суетных дней, то другую. Бросить весло. Откинуться на рюкзак. Руки за голову.

Облака. Стрекоза. Далекая ласточка. Как в детстве.

Каждое лето родители «ссылали» меня в деревню. Сначала я скучал по городу, а к концу лета плакал, когда приходилось уезжать из дедова дома, от деревенских друзей назад в город...

А случилось однажды летом вот что... В августе в деревню раз в неделю стал наезжать тряпишник. Такой нестарый мужик на телеге, которую волокла старая лошадь. Мужик собирал всякую ветошь, шкуры, старые сапоги, сковородки, прогоревшие чайники и прочую дрянь, а взамен давал иногда мелкие деньги, но чаще — яблоки, свистульки, игрушки, хозяйственную мелочь вроде оселков, спичек, мыла, суровых ниток и стекол для керосиновых ламп... Да, сейчас молодые-то и не знают, что такое керосиновая лампа, в кино разве что видели...

И вот сижу я как-то вечером с другими ребятишками на крыльце у тети Мани и слышу, как тетя Маня разговаривает с соседками:

— Странный какой-то тряпишник в этом году. В том годе другой был — старый. А этот молодой, и разговаривает по-городскому. Отчего такой молодой — а тряпишник?

— Вот ить и цену толком не знат! — поддержала ее соседка. — Как попало рассчитыват. Неправдашный какой-то.

— Вот и муку обещал привезти, — подхватила еще одна тетка. — Я шутя попросила, а он возьми и пообещай. Да разве всем муки навозишься!

— И вот что само-то главно, — тетя Маня понизила голос и недовольно оглянулась на навострившую уши малышню. — Все про город расспрашиват... Все выспрашиват и выспрашиват...

А город — это как раз тот город, где я жил со своими родителями; город был «секретный», окруженный колючей проволокой, вдоль которой ходили солдаты с автоматами и гавкающей остроухой собакой. Когда мы возвращались из деревни, в воротах солдат с суровым лицом внимательно смотрел то на фотографию отца в пропуске, то на самого отца, а потом переворачивал талон пропуска и строго спрашивал меня:

— Как тебя зовут, мальчик?

И каждый раз я очень боялся сказать вместо правильного «Саша» — неправильное «Вася» или «Коля»... Все в окрестных деревнях знали про секретный город все — и то, что там огромный подземный завод, что там подземный склад атомных бомб, и что даже аэродром там подземный... Но это свои, советские... А тут...

Сначала соседки долго молчали, раздумывая, а потом одна говорит:

— А когда он обещался-то?

— Дак в эту субботу и обещался. Давайте-ка мы председателю скажем. Как приедет тряпишник, ты, Любаша, попроси его подождать, будто ветошь забыла. Мы его чаем поить станем, а ты в это время за председателем и сбегашь, а он уж сделат что надо...

Три дня я ходил под впечатлением того страшного разговора, шептался с братьями, и мы даже смастерили луки и стрелы, чтобы помочь, если потребуется, председателю с мужиками арестовывать шпиона. Но так долго тянутся летние дни в деревне, и так много неотложных дел и забот. На дальний пруд карасиков половить со старшим братом сходить надо? Надо, когда еще позволит! Новорожденных щенков у Колькиной легавой суки посмотреть надо? Надо! И в картофельный склад, раскрытый на просушку, проникнуть необходимо, поскольку только там можно голыми руками изловить пудика, а потом посадить его за пазуху и слушать как он там возится, щиплет кожу на животе и чирикает... В общем, к субботе я про тряпишника забыл!

А субботним вечером в деревне все только и говорили о том, как бабы у тети Мани в избе шпиона вязали. На закате я сидел на свежем банном срубе на задах бабушкиного дома и, втайне глотая слезы обиды, слушал рассказы очевидцев — тетиманиных внучков. Слушал настоящую сагу о том, как соседки хитро заманили тряпишника в дом, как председатель замешкался и тряпишник, несмотря на уговоры, а может, и почуяв опасность, собрался уезжать, как бабы набросились на него и связали заранее приготовленными веревками, с помощью которых носят вязанки сена... Как приехали потом военные люди, вызванные председателем по телефону, и забрали связанного тряпишника. А телегу и лошадь оставили в колхозе, только из телеги все переложили в машину-полуторку, даже сено и тряпье...

Потом, гораздо позже, уже когда мне стукнуло лет двадцать, я на каком-то родственном мероприятии — то ли свадьбе, то ли похоронах — спросил тетю Маню, что было с тем тряпишником? Действительно ли он оказался шпионом?

Но тихая, добрая тетя Маня ответила сердито:

— Што ты придумываешь? Какой шпион, эт у тебя детски фантазии каки-то!

Я обиделся, а когда вышел на крыльцо подышать свежим воздухом, вышел вслед за мной дядя Паша — муж тети Мани, и, сев рядом на лавочку на том самом крылечке, тихонько сказал:

— Не спрашивай ты ее, не скажет. С них ведь со всех подписку взяли. Разве не понимашь?

И обида сразу прошла, а на душе стало легче...

Когда советские времена закончились, я все собирался расспросить тетушку про тот случай, да все забывал и забывал... И вот вдруг среди ночи отчего-то вспомнил. И что интересно: и крыльцо, и соседок, и звуки

того вечера, да даже запахи помню ясно, как будто все вчера было, а себя и того тряпишника — смутно, словно в тумане… А, может, и правда ничего не было, и все это детские фантазии?

Как же хорошо бывало летом пройтись по родной деревеньке. Ласточки кричат над головой, пудики в пыли то ли ссорятся, то ли играют, крапивой пахнет и смородиновым листом вперемежку с банным дымком. Тетя Маня навстречу бредет задумчиво.

— Теть Мань, ты что задумалась?

— Да вот, тапки купила, хороши тапки, тока они мне малы.

— А ты зачем купила, малы-то?

— Ну… Велики-то у меня уже есть!

Вспомнишь, улыбнешься, и еще вспоминается: год случился урожайный, огурцов уродилось — про́пасть! В проулке среди тазов и банок тетя Маня.

— Теть Мань, чего делаешь?

— Да вот огурцы солю. Огурцов-то ноне — не знай, куды девать… Не выбрасывать же…

Постояла, посмотрела на горки огурцов в тазах и, разведя руки, вздохнула:

— В крайнем случае, солеными выбросим…

Неподалеку от избы тети Мани стояла развалюшка, в которой жил, может быть, последний юродивый России. Ну, уж в наших краях последний — точно! Классический такой юродивый: ходил в обносках, зимой и летом босиком, в сумку собирал все, что ни найдет, или что подадут. Не попрошайничал, был добрым и разговорчивым. И все время не расставался с самодельным веревочным кнутом, за что и был прозван Саня-кнут.

Дед мой, когда сильно сердился на меня за детские мои не всегда разумные проделки, говорил в сердцах:

— Да у тебя понятия меньше, чем у юродивого! Вырастешь, будешь, как Саня-кнут с голым пузом ходить.

Как и положено юродивому, был Саня-кнут истово верующим. И была у него мечта: попасть на камушек Серафима Саровского. Саровский монастырь в те годы уже оказался за колючей проволокой; поселок, что был под его стенами, облюбовали ученые и военные, которым Родиной было поручено создать атомную бомбу, чтобы ответить на бомбу американскую и спасти мир от войны. За колючей проволокой в три ряда, контрольно-следовой полосой, вдоль которой ходили солдаты с овчарками, оказалась и Дальняя пустынка, где Серафим вершил свой главный подвиг. Так что мечта попасть туда была из области несбыточных.

Но не зря старые бабушки говорят: вера сотворит любое чудо. Невероятно, но факт: на серафимовских местах Саня-кнут побывал!

Как-то в июле он вдруг из села пропал. А через месяц его привезли на военном «газике», провели в правление колхоза, а потом опять посадили в «газик» и увезли. Веревочный кнут, как заметили немногочисленные свидетели происшествия, был при Сане… После этого юродивый сгинул окончательно…

И только годы спустя тайное стало явным.

В то лето Саня-кнут во что бы то ни стало решил попасть в секретный город и пробраться на Дальнюю пустынку. Он всю весну и весь июнь бро-

дил вдоль колючей проволоки и выискивал лазейку. Безрезультатно. Один раз в него даже стрелял узкоглазый темнолицый солдат — то ли киргиз, то ли якут. Но не попал.

И вот, в конце концов, Саня набрел на железнодорожную ветку, по которой в закрытый Саров по ночам ходили время от времени составы. Тут он и понял, как проберется в город. Выждав, когда на станцию пригнали состав с лесом, он нашел платформу с самыми большими бревнами и ухитрился пробраться в щель между стволами. Конечно, там его непременно должно было раздавить во время движения. Но не зря в народе говорят, что Бог заботится о дураках, пьяных и Соединенных Штатах Америки. Поскольку юродивый сродни дураку, Бог, видимо, пожалел Саню, и его не раздавило бревнами, не унюхали овчарки, не проткнул длинным железным штырем солдат на КПП. Когда состав пришел на товарную станцию Сарова, была еще ночь, и Сане удалось незамеченным выбраться из бревен, и так же необнаруженным уйти со станции.

Недели полторы он жил в самодельном шалашике на Дальней пустынке, которую нашел без труда по рассказам богомольных стариков из нашего села, еще помнивших, как их в детстве водили на поклонение мощам Серафима и в монастырь, и на пустынку. Однако, когда кончилась принесенная в котомке еда — хлеб, печеная картошка и печеные же яйца, пришлось идти в город. Тут, в городе, его и замели. Для интеллигентных жителей научного Сарова в диковинку оказался грязноватый человек в рубище и с кнутом на плече, который стоял у магазина и ласково просил хлебушка. КГБ в те времена работал шустро. Саня-кнут был моментально задержан, доставлен куда следует; и кто следует, его допросил. Долго не решались поверить, что оборванный человек не американский, или на худой конец английский шпион. Несмотря на то, что Саня-кнут подробнейшим образом описал, как он проник в город, показал шалаш, в котором жил, и рассказал, кто он и откуда, саровские рыцари плаща и кинжала долго отказывались признавать реальность его истории и усердно строили версии шпионского направления, допрашивая его, как инквизиция Коперника. Саня, однако, всем улыбался, ничего не боялся, охотно и многословно отвечал на все вопросы и вышел из себя лишь однажды, когда кэгэбэшники отняли у него кнут. Он так орал, рыдал и колотился в судорогах, что кнут ему вернули и больше отнять не пытались.

В конце концов, Саню посадили в «газик», привезли в село и предъявили правлению колхоза с председателем во главе для опознания. Со шпионской версией кэгэбэшникам пришлось-таки с большим сожалением расстаться...

Куда увезли Саню, так никто и никогда не узнал. Говорили только, что, садясь у крыльца правления в гэбэшный «газик», Саня-кнут беспечно и счастливо улыбался. Еще бы, его несбыточная мечта сбылась. «Газик» повез его в неизвестном направлении, а оказавшиеся около правления случайные старушки тайком крестили воздух ему вслед...

С тех пор ни одного юродивого в наших краях никто никогда не видел...

* * *

Нынче то старинное, помнящее пыль, поднятую войсками Ивана Грозного, проходившего здесь по дороге на Казань, село, куда я каждым летом приезжал к деду Василию, почти зачахло. Молодые и не сильно пьющие подались в ближний городок, соблазненные благами цивилизации и легкими заработками, сильно пьющие почти все лежат под ряби-

нами и березами тихого кладбища, а в еще не заколоченных и не проданных под дачи домах доживают век старики и старухи, которым в молодые годы и в голову не могло прийти, что жизнь повернется так — на селе вдруг не окажется рабочих рук, половина домов будет брошена, а поля зарастут бурьяном и горькой полынью...

А когда-то село с утра до вечера гудело и шевелилось пчелиным роем, живым муравейником, грачиным гнездовьем.

Тарахтели по апрельским жирным пашням трактора, красные комбайны пылили по спелым августовским жарким полям, скрипели по зимникам широкие сани, запряженные раскормленной, седой от инея колхозной лошадкой, игрались развеселые осенние свадьбы, и мало в каком доме было меньше троих ребятишек.

И не сказать, что жизнь текла легко и безбедно. Родимое наше государство изгилялось над колхозником как могло: то вводя налог на каждый смородиновый куст и на каждую курицу, то объявляя небольшие и зажиточные деревеньки неперспективными, то загоняя селян в двухэтажные панельные халупы, борясь с подсобными хозяйствами... А все ж таки народ и поработать мог, да и повеселиться умел...

...И разливался томными вечерами над тонущей в синих сумерках деревней хулиганский голос гармоники. Или на лавочке у дома, или на бревнах свежего сруба на выселках, а то и просто на берегу мутной Пузенки, окруженный парнями и девками, куражился над своей хромкой рыжий мальчишка — Ундервуд. Что он, негодяй, выделывал!

Нарядная шуйская гармоника попала в Шуркины ручонки, когда ему едва исполнилось пять. Поздно вечером подвыпивший Карасев-отец привез из райцентра инструмент, а с самого утра Шурка завладел им и никому не отдавал, закатывая в ответ на малейшие попытки такой рев, что все махнули рукой. Весь день он сидел на крыльце в потоках июньского солнца, обманчиво похожий на рыжего Купидона, и извлекал из хромки писклявые звуки, а под вечер, к изумлению домашних, вывел залихватского «Сормача», которого играли на всех свадьбах и гульбищах. Старший Карасев, кое-как пиликавший на гармонике популярные песенки, наиграл младшему несколько мелодий, и тот не только схватывал их с полузвука, но и тут же выдавал чисто и бойко. Через несколько дней народ толпищами ходил к карасевской избе смотреть на рыжее дарование, а дед Василий, услышав игру Шурки-Карасенка, припечатал его словом, которое не каждый с первого раза смог и повторить: «Ундервуд». Понятное дело, деда подвела память, и он, конечно же, имел в виду вовсе не пишущую машинку некогда известной заграничной марки, а слово «вундеркинд». Хотя, кстати, именно в то время в орготделе райкома партии как раз доживала век, шепелявя и заикаясь, машинка именно этой фирмы. Но для деревенского непритязательного слуха что «ундервуд», что «вундеркинд» — одна малина. Так и приклеилось к Шурке это прозвище навеки. И понятное «Рыжий», которое носить бы Карасенку не износить до самой смерти, заменилось непонятным и оттого почетным «Ундервуд».

Та шуйская гармоника долго тешила и самого Ундервуда, и все село, пока не попала под пьяную руку Карасева-старшего и не погибла в мучениях, издавая напоследок такие стоны и вопли, что участковый милиционер Палыч, запыхавшись, прибежал к карасевской избе с незаряженным пистолетом наголо, решив, что кого-то убивают.

Однако проспавшись и отмаявшись похмельем, Карасев-старший молча уехал в район и приехал с новой, на этот раз тульской гармошкой. И снова по вечерам инструмент под тонкими ловкими пальцами Ундервуда и пел, и плакал, и ругался матерно, мог и замяукать, и закукарекать петухом, и закашляться.

В общем, очень скоро Ундервуд полностью затмил славу другого деревенского уникума. Как раз в ту пору жил в нашем сельце мужик по кличке Транзистор. Вот говорят: чудо природы. Этот Транзистор как раз из такого разряда. И кличку ему меткий народ дал совершенно точную и справедливую.

Едва Транзистор открывал утром глаза, как тут же открывал и рот и не закрывал его до того момента, когда засыпал. Он говорил голосом диктора о погоде за окном, голосом председателя о надоях и привесах, индифферентным голосом пересказывал прочитанное в «Сельской жизни». Вместе с докладчиком приглушенно-сдавленным голосом говорил на собраниях, забившись в последний ряд, говорил за едой, играя в домино и в футбол. А если кому доводилось проходить мимо деревянного «скворечника» за домом Транзистора, то, услышав из будочки с вырезанным сердечком на двери: «...механизаторы колхоза «Березовский», несмотря на устойчиво дождливую погоду, приступили к жатве колосовых...», прохожий не удивлялся. Транзистор говорил везде. И всегда.

Чужие люди, узнав о таком уникуме, все время удивлялись: как же его терпят домашние? Но, видно, человек действительно ко всему привыкает. Тетка Клавдя — жена Транзистора — утверждала, что на второй или третий год после свадьбы вообще перестала слышать Транзистора, как перестают слышать шум прибоя или шелест крон люди, живущие у моря или в лесу. И Транзистору приходилось дергать супружницу за рукав, чтобы привлечь к себе внимание. В общем, народ в селе по-доброму посмеивался над замысловатой шуткой природы, но привык и не удивлялся. Удивлялись только приезжие. А один студент-практикант с филфака целый месяц провел в селе, с утра до вечера болтаясь вслед за Транзистором в надежде постичь сей феномен. Он таскал с собой секундомер, но паузы в нескончаемой речи Транзистора больше чем в пять секунд так и не поймал. Не выяснил и никакой закономерности в его словесных излияниях.

Доживи Транзистор до нынешних времен, пожалуй, непременно удостоился бы упоминания в «Книге рекордов Гиннесса»...

Однажды Транзистор чуть не пострадал. По политическим мотивам. Как-то народ собрали в правлении, и уполномоченный из райкома сообщил о смерти вождя — Леонида Ильича Брежнева. После чего должна была состояться глубокая траурная минута молчания. Как на грех, в правление пришел и Транзистор. Едва народ, сняв шапки, примолк, раздался бодрый голос из задних рядов: «Вчера в Кремле генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев принял шведского посла за германского...» Испуганно-разъяренный райкомовский уполномоченный долго не хотел верить, что это не намеренная провокация, инспирированная западными агентами, а непроизвольная дурость сельского тракториста. Скандал едва удалось замять...

Ночью, засыпая, тетка Клавдя выговаривала мужу: чуть до беды не довел, треплешься и треплешься. А ну как посадили бы на старости лет...

Но Транзистор молчал. Переволновавшись, он моментально уснул. А во сне он не говорил. Никогда...

К тому времени, когда Ундервуду минуло семнадцать, он перетискал всех девок и молодых баб, за что бывал нещадно бит и парнями, и мужиками. Порой после очередного амурного приключения он неделю лежал с примочками на синячных глазах, с йодными царапинами на рыжей физиономии и только пил холодное молоко и страдал.

И вдруг этот оторва влюбился. В глаза девицу звали Любашей, а за глаза Монашкой. И оказалась она тем кремневым камнем, на котором осеклась наглая коса рыжего Ундервуда. Не сумев взять Монашку с наскока, Ундервуд было плюнул и загулял напропалую, и вдруг с удивлением понял: не помогает. Тогда он стал каждый день с вечера до утра ходить под окнами Любашиного дома и наигрывать такие жалостные мелодии, что вся женская половина слободы, кто тайком, а кто и открыто, плакала. Повторялась банальная гоголевская история, только Монашка не хотела никаких черевичек, а хотела спокойно спать ночами и не слушать надрывающие душу стоны и плачи Ундервудовой гармоники. Отец Любаши лил на влюбленного музыканта помои, швырял в него поленом, спускал цепную собаку Жульку. Но и облитый помоями, рыжий продолжал настырно будить село страданиями; поленом его было не взять, а Жулька, выбежав из ворот с грозным лаем, подбегала к Ундервуду и, сев у ног, начинала так проникновенно выть, что и у мужиков на глаза наворачивались слезы. Не помогли даже обращения к участковому и к отцу: оба разводили руками — убить его, что ли?

Если село и не сошло с ума от этой музыкальной трагедии, то только потому, что Монашка, получив аттестат об окончании средней школы, укатила в город. Ундервуд кинулся было за ней, но очень быстро вернулся. Почему вернулся — никто так никогда и не узнал, хотя версий по селу бродило много. Тем более что вернулся он с умопомрачительными по колеру фингалами под глазами и разбитой губой...

Впрочем, потосковав еще неделю-другую, гармошка рыжего Ундервуда понемногу отошла-оклемалась и снова повеселела, разгулялась, да так и гуляла до самой свадьбы, и на свадьбе самого рыжего, попавшего в руки крутой бабенки, которая быстро пресекла романтические похождения гармониста, взяв его в ежовые рукавицы и родив быстренько пятерых детишек...

И, несмотря на то, что Ундервуд ни разу не открыл рта, чтобы спеть хоть полкуплета, вспоминая о нем через много лет, деревенские, ставшие городскими, восхищались:

— А как Ундервуд пел — чудо!

Правда, одни добавляли — Шаляпин! Другие утверждали — Собинов! А иные говорили — Утесов... А рыжий Ундервуд голоса не имел, и если открывал свой губастый рот, то лишь затем, чтобы не спеть, а как бы продекламировать затравочную частушку или крикнуть вслед бабенке какую-нибудь матерщинку.

Вот ругался Карасенок — это да, затейливо, талантливо и едва ли не с пеленок. Собственно, именно эта необоримая привычка и не дала рыжему Шурке стать всемирно известным музыкантом. Когда в семь лет его отвезли в райцентр, в музыкальную школу, он вызвал настоящий фурор. Преподаватель, не поверивший в россказни о юном гении, сыграл на баяне довольно замысловатую мелодию и дал инструмент Ундервуду, и тот моментально и почти без ошибок повторил только что услышанное. И все же продержался он в музыкальной школе ровно полчаса. Как раз до того момента, когда самой директрисе, плененной музыкальным дарованием

и от чистого сердца посоветовавшей юному чуду держать баян по-другому и иначе класть кисть руки, он совершенно без злобы, но твердо сказал:

— Шла бы ты, коза бездомная, на фиг! Я сам знаю, как на гармошке играть.

Утонченная консерваторская душа директрисы, месяц как приехавшей в наши края из славного города Ленинграда, была растоптана, а вера в чистых и наивных крестьянских детей грубо убита. Эта встреча определила дальнейшую жизнь не только Ундервуда, который вместо того чтобы получить регулярное музыкальное образование и выступать с сольными концертами где-нибудь в Токио, в Вене, а то и в Париже, всю жизнь провозился с тракторами и комбайнами, но и судьбу молоденькой директрисы. Та принялась с беспощадной яростью бороться за культуру речи в быту и на работе, стала писать в районную газету проникновенные статьи и выступать с лекциями в районном клубе. Ее заметили в райкоме, быстренько приняли в партию, и к тому времени, когда Ундервуд впервые сел за руль кривоногого тракторишки, прозвание которому в наших краях «пердунок», бывшая директриса уже была секретарем райкома по идеологии, и ее побаивался сам Первый, с напряжением следивший при ней, чтобы с уст ненароком не слетело привычное в иных обстоятельствах краткое слово. Впрочем, оказалось, что к тем порам бывшая интеллигентная ленинградка в узком кругу подчиненных, распекая кого-то за очередной промах на ниве идеологии, совершенно спокойно могла завернуть такой матерный крендель, что был бы достоин и самого Ундервуда...

Итак, Ундервуд не пел. Даже частушек. Но этого и не требовалось — за него пела гармоника. И петь она могла и шаляпинским басом, и собиновским тенором, и одесской утесовской хрипотцой...

Ни один из пятерых детей Ундервуда гармошки в руки не взял. К тому времени, когда ребятишки подросли, в моду вошла гитара, в домах появились «радиолы», потом телевизоры; в клуб, повышенный до звания Дворца культуры, стали привозить душещипательные индийские «картины». Жизнь катилась к светлому будущему, все ближе подкатываясь к гибельному обрыву.

Все реже народ выходил теплыми летними вечерами на улицу, предпочитая следить по телевизорам, как-то незаметно ставшими цветными, за судьбами заморских Марий, Хуанит и Родриго. И все реже раздавался в вечернем синем мареве над тихими ветлами, над уснувшей речкой Пузенкой хулиганский голос гармошки. Последний раз поседевшего Ундервуда видели с гармошкой в райцентре на неожиданно ставшем популярным празднике «Играй, гармонь», где он сорвал бурные овации...

Вроде все те же дома курятся по утрам сладковатым дымком, все та же церковка смотрится в застывшую Пузенку, то же солнце сонно и устало катится по-над крышами в дальний черный лес за околицей, но жизнь кругом совсем иная... Словно сон ушел и потихоньку забывается, стирается в памяти, тускнеет, как старая фотография на стене — ясные глаза, лихие усы, фуражка с кокардой, Георгиевский крест на выпяченной груди. Предок, а кто — дед ли, прадед — никто уже и не вспомнит...

Вопреки всему живет в сердце глупая надежда, что вот-вот разольется над тонущей в синих сумерках деревней хулиганский голос гармоники. Что на лавочке у дома, или на бревнах свежего сруба на выселках, а

то и просто на берегу мутной Пузенки, окруженный парнями и девками, снова возьмется куражиться над своей цветастой хромкой рыжий мальчишка — Ундервуд. Но нет — ничто не вернется. Нету тети Мани на белом свете. Сгинул где-то Саня-кнут. И меня не будет. Но, может быть, вспомнит и меня кто-нибудь, как вспоминаю их сейчас я...

* * *

...Конечно, конечно, еще собираясь в дорогу, я знал, что она закончится и ничего по большому счету не изменит. Но все же... Пока мне плылось беззаботно по этой слюдяно-чистой воде, под этими зелеными сводами, под просторным небом, я чувствовал, что буду плыть вечно и жить буду тоже вечно...

Настырный разум въедливо говорил: нельзя просто взять и уйти, все когда-нибудь обязательно кончится, так стоит ли и начинать, стоит ли куда-то плыть, лететь, ехать? Некий восточный философ изрек: лучше идти, чем бежать, лучше стоять, чем идти, лучше сидеть, чем стоять, лучше лежать, чем сидеть. Лучше быть мертвым, чем живым... Может, и правда все эти наши искания, прогресс, цивилизация, путешествия — всего лишь нелепая попытка убежать от себя и от смерти? Может быть, и не стоит никуда плыть? Не знаю. Душа просится, вопреки разуму надеется, что все-таки стоит. Хотя бы для того, чтобы убедиться, что есть на свете лес, река, покой, что живет на свете чудная райская птица — зимородок. Изумительно красивая просто так — ни для кого и ни для чего...

□ □